



ет... Думается, может быть, и Россия уже прожила лучшую половину своего существования, может быть, то, что мы видим вокруг себя, все эти унижения и оскорбления, которые навалились на нас со времени японских

побед, может быть, все это только проявление неизбежного закона, управляющего миром... Может быть, русская мощь умирает естественной смертью и на развалинах ее вырастает нация, которой предопределено судьбою в таком-то веке захватить гегемонию на огромной равнине от Белого до Черного моря.

И, если станешь всматриваться поглубже, горькие сомнения еще сильнее сжимают душу, как роковое предчувствие. Когда вглядываешься в окружающих тебя русских людей, сравниваешь их с другими народностями, такими многочисленными, перемешавшимися с нами, невольно поражает огромная разница между нами и всеми ими. Взять хотя бы главные из этих национальностей — поляков, евреев, финнов...

Какой преобладающий тип русских? Добродушны, уступчивы, застенчивы. На чьей стороне должен быть перевес при столкновении и борьбе этих двух человеческих пород? Ответ напрашивается сам собою. Природная доброта и незлобивость отдает русских, беззащитных, со связанными руками и ногами, во власть злых и жестоких. Сильный в этом грустном мире почти является синонимом злого. И когда подумаешь об этом, безотрадно становится на душе. Злым быть противно, а доброта ведет к рабству...

Где же выход?

Но где-то там, на неизведанной глубине народной души, лежит прекрасный образ, который светлою рукою указывает нам путь. И когда почувствуешь его, когда увидишь отражение этой прекрасной народной души в настоящей реальной жизни, когда вдруг на серой поверхности народного моря появляется человек, который носит на себе сияние и отблеск святой Руси, — тогда сомнения отлетают прочь и веришь в будущее России, веришь в то, что еще далека минута ее кончины, потому что она еще не выполнила своего священного предвечного назначения.

Да, в этом мире властвуют злые. Да, каждый из этих народов, что приютился между Балтикой и Тавридой, будучи владыками, были бы господами жестокими и суровыми. Властителей поляков мы, Западная Русь, уже испытали, они были злые. Владетелей евреев мы начинаем оценивать: они безжалостны. Остальные были бы еще хуже.

В душе же каждого русского, и во всей огромной русской душе, от века живет ничем неизгладимое чувство: мы хотим быть кроткими, мы хотим быть добрыми.

Иногда это нам не удается. Когда окружающие нас народы, пользуясь нашей врожденной кротостью, садятся нам на шею и грубо понукают нами, мы не выдерживаем, мы отрываем от нашего тела руки, которые нас душат, и в порыве раздражения швыряем злобного человека на землю. Но как только, побежденный, он лежит на земле, жалость наполняет наше сердце, кротость входит в свои права, и мы сами протягиваем ему руку и помогаем ему встать, помогаем для того, чтобы он снова взобрался к нам на плечи.

И потому-то в душе русского народа живет смутное чувство, только у немногих светлых голов ясно сознание, претворившееся в стройное мировоззрение чувство, что русскому народу надо быть сильным. Надо быть сильным, чтобы всем было хорошо... Потому что сильный русский народ никого не обидит... Потому что он будет добрый...

Добрый и сильный.

В этих двух словах предопределение России. В этом ее мировое назначение, и потому она не умрет, она не может умереть потому, что она не выполнила еще Богом порученного ей дела.

В этих же двух словах объяснение, почему личность погибшего Петра Аркадьевича Столыпина облечена таким светлым ореолом.

Он соответствовал самым затаенным мечтам народной души. Он носил в себе сердце излюбленного русского героя, красной нитью проходящее через все грезы русского народа, начиная от былин и кончая сказками о великом старце Сибири, ушедшем от мира Императоре Александре Благословенном.

Столыпин был русским витязем-подвижником.

Он был сильный и добрый.

И чтоб это понять, это почувствовать, так сказать, осязанием, надо было подойти к нему, как это мне случалось иногда после его удивительных речей с кафедры Государственной Думы.

Как говорил Столыпин, об этом не скоро забудут те, кто имел счастье его слышать. Когда Столыпин всходил на кафедру, это значило, что произошло что-нибудь очень важное или же в воздухе висит выдающееся событие. Его речи в буквальном смысле этого слова «делали историю». Трудно найти пример, когда человеческое слово заключало бы в себе такую необычайную мощь и значение. Как натура необыкновенно чуткая, одаренная в высшей степени способностью понимать психологию момента, способная понимать, чего ждет в данную минуту коллективная человеческая душа, Столыпин усвоил себе манеру говорить, как нельзя более подходящую для той высоты, на которую поставила его судьба.

Он стоял на кафедре очень спокойный, почти без жестов, внушительный, величествен-

ный, если бы он был старше. Но не это поражало. Особенность, никем не переятая, единственная в своем роде, заключалась в том, что его речь как бы раздвигала стены Таврического дворца. Хотя он по обычаю начинал свою речь обращением «Господа члены Государственной Думы», но, когда он говорил, казалось, что он вовсе не говорит для тесного кружка из четырехсот лиц, застывших с совершенно безмолвным, до крайности напряженным вниманием. Он говорил для России. Никогда я не запомню, чтоб он обращался к кому-нибудь из присутствующих, и никогда ни одному из его слушателей не удавалось встретиться с ним глазами. Всегда с высоко поднятой головой, он глядел прямо перед собой куда-то очень далеко, гораздо дальше этих голов, и лиц, и глаз, прильнувших к нему, гораздо дальше этих хор с повисшими на них гирляндами петербургской публики, гораздо дальше стен Таврического дворца, дальше кипящей суетливой жизнью столицы, дальше унылых и бедных болот прибалтийской равнины. Он говорил для всей беспредельной России.

И, казалось, эти глаза, устремленные прямо перед собой, видят ее беспредельную ширь, видят не только унылые равнины Великой, но бедной России, но видят и мягкие, круглые, глазастые и робкие лица Белоруссии, видят забитое лицо Холмщины, против воли примечают и подавленный вздох Червоной Руси и, наконец, с любовью пристально и ласково останавливаются на вековечном русском городе, раскинувшемся по кручам, под голубым украинским небом, на родном нашем городе, где он нашел себе могилу. В минуты вдохновения, когда необычайного величия и красоты образы рождались его словами, казалось, что вместе с нами, вместе с этим Таврическим дворцом вся единая и неделимая Россия чувствует холодок восхищения и трепет восторга перед красотой и силой.

«Кто же из вас посмеет оспаривать долг и право русского Государя в тяжкие минуты спасти Богом врученную Ему державу!»

Разве не услышала эти слова одновременно с нами вся огромная Россия? Каждое слово столыпинских речей было выковано колоколом, который, он знал это, будет слышен от Финляндии до Кавказа, от Варшавы до Сахалина.

И потому-то речь его, способ выговаривания слов был властным, энергичным. В нем слышалось совершенно непререкаемое убеждение и твердая готовность поддержать его всей мощью государственной власти.

«Правительство обладает всею полнотою власти».

Трудно передать выражения, с которыми говорились эти слова.

«Правительство хочет видеть русского крестьянина сильным, просвещенным и прежде всего не нищим, ибо достаток есть чеканная свобода».

Стремление Столыпина сделать русский народ мощным и сильным, вернуть его, униженного и оскорбленного, на ту высоту, которая ему принадлежит по праву, это стремление красной нитью звучит во всех словах, произнесенных Столыпиным в Таврическом дворце. И, стоя на этой кафедре, увенчанной двухглавым орлом, отстаивая русскую землю и душу от враждебного стана двенадцати языков, суровый, властный, недостижимый, он олицетворял собою мощь русской земли, вставшей во весь рост на защиту родины от врагов.

В эти минуты он был сильный.

Но стоило подойти к нему через несколько мгновений после того, как он покинул кафедру, это боевое ристалище, и взглянуть в его лицо, когда он разговаривал с окружающими его со всех сторон политическими друзьями: ни одной черты непреклонности и суровости не оставалось в нем. Ласковый и приветливый, он, видимо, был искренно счастлив, когда ему удавалось хорошо сказать свою речь, т. е. исполнить свой долг перед Россией. И тогда в его улыбающемся лице ясно чувствовалось, что он только в силу жестокой необходимости, только потому, что России наступили на шею, должен был надеть на себя боевые латы и показать врагам грозное чело, а что на самом деле по существу своей природы он такой же незлобивый, добрый человек, как и все русские люди. В эти минуты он был добрый.

Да так оно и было по существу. П. А. Столыпин был, несомненно, добрый человек, которому внушала отвращение всякая жестокость, способный до глубины сердца пожалеть всякого, даже врага, как только враг становился безвредным и жалким. В этом отношении глубоко характерны отношения его к человеку, который нанес ему смертельную рану.

«Он мне показался таким бедным и жалким, этот еврейчик, подбежавший ко мне... Несчастный, быть может, он думал, что совершает подвиг...»

Это великодушие и жалость к своему убийце ясно показывают, какой мягкой, почти женственной была душа Столыпина и как бесконечно тяжело давались ему суровые меры, которыми ему пришлось остановить революционное движение. Но он понимал, что несвоевременная жалость есть величайшая жестокость, ибо эта жалость понимается как трусость, окрыляет надежды, заставляет бунт с еще большей свирепостью бросаться на власть, и тогда приходится нагромождать горы трупов там, где можно было бы обойтись единицами. Он сурово наказывал, чтобы скорее можно было пожалеть... Он был русский человек...

Сильный и добрый...